

ЛИТЕРАТУРНАЯ ЖИЗНЬ. ЧТО ПРОИЗОШЛО?

Рубрику ведет Игорь ВИНОГРАДОВ.

# ОСОБЫЙ ПУТЬ?



Василий Гроссман. Зима 1941 г.

Повесть Вас. Гроссмана «Все течет», написанная в 1955—1963 гг. и лишь после смерти автора опубликованная на Западе (1970), сегодня донесена наконец и до нас — решимостью «Октября» (№ 6). Вещь эту, впрочем, и повестью-то не назовешь — так равнодушна она даже к самым строгим канонам своего жанра. Характер главного героя, старого зека Ивана Григорьевича, отбывшего тридцать лет лагерей, едва намечен, сюжетные скрепы в тексте почти отсутствуют, зато повесть щедро заполнена почти чистой публицистикой размышлений героя о стране и ее судьбах, причем голос героя почти неотличим от голоса самого автора...

И все же перед нами хотя и своеобразное, угловатое, но, несомненно, живое и мощное художественное единство — живой образ некой особой реальности, которую действительно не уложишь в привычные повествовательные формы. Эта реальность — то сдвинутое, потрясенное состояние нашего духа, когда мы решаемся взглянуть, не отводя глаз, в темную бездну, поглотившую на долгие годы нашу страну, — в те поистине апокалиптические образы и видения, что клубятся в ней, вспыхивая перед нами то жуткой сценой из жизни режимной женской каторги, то жалкой заискивающей улыбкой перепуганного доносчика, отправившего в сталинские застенки десятки своих друзей и знакомых, то обтянутыми желтой пергаментной кожей детскими скелетиками в вымирающей от голода 1932 года украинской деревне... Да, это образ потрясенного сознания, и ему соответствует и потрясенность той мысли, усилием которой автор и его герой пытаются охватить мир этих кошмарных реалий. Мысль эта поистине бесстрашна в своем стремлении дойти до последней истины, но порою и она как бы слабеет перед неуместностью в раздумьи чудовищного предмета. Может быть, поэтому она и не свободна от иных неточностей, даже противоречий. И даже от слишком больших упрощений.

Одно из самых досадных — попытка напрямую связать судьбу России после 1917 года с давлением той традиции, которая видится автору господствующей в тысячелетней русской истории: развитие России в отличие от Запада оплодотворялось не ростом свободы, а ростом несвободы, рабства, неумолимым подавлением личности; даже лучшие черты «русской души» обязаны своим происхождением условиям несвободы, которые формировали эту «тысячелетнюю рабу», потому-то и оказавшуюся в итоге под еще более тяжким гнетом тоталитарного режима, что в опыте ее рабской неразвитости почти отсутствовал опыт свободы и демократии... При всем том, что в схеме этой немало правды, она, конечно, слишком упрощает куда более сложный процесс исторического развития России и мало что дает для понимания тех особых, специфичных именно для конца XIX — начала XX вв. сил и причин, которые реально и определили нашу судьбу после 1917 года. Об односторонности подобного рода схем не раз — и справедливо — писал А. Солженицын.

Здесь я не могу, однако, обойти и то, как этими заблуждениями историософской мысли Вас. Гроссмана воспользовались наши отечественные охотники за ведьмами, на роль которых (то есть ведьм) ими зачислены ныне пресловутые «русофобы», причем, как и сорок лет назад, преимущественно еврейского происхождения. Еще в прошлом ноябре «Наш современник» в лице А. Казинцева забил в набат, предупреждая, что «Октябрь» готовится напечатать повесть, полную «иступленных нападок на русский народ». А недавно (см. «Литературную Россию» от 4.8.89) к нему присоединились еще три витязя той же дружины — М. Антонов, В. Клыков, И. Шафаревич, которые сочли единственно достойным для себя уже

и просто-таки обратиться в соответствующую державную управу благочиния (то есть в данном случае в Секретариат правления СП РСФСР) с прямым предложением призвать к порядку зарвавшийся журнал, печатающий откровенно «русофобские» сочинения вроде повести «Все течет». Тем самым они снова — и, кажется, впервые в новейшее времена — подняли былое знамя так называемой «передовой советской интеллигенции», предложив и в эпоху перестройки бороться с инакомыслием посредством идеологически проработанных кампаний... Что ж, исполать. Только давайте уж примемся тогда и за Гоголя, и за Достоевского, и за Некрасова, и за Щедрина. А Пушкин, посмеявшийся заявить, что это черт догадал его родиться в России с умом и талантом? Да еще бросить народным «стадам», что «дары свободы» им ни к чему, ибо вечный их удел — «ярмо с гремучками да бич»?.. А Лермонтов, назвавший свою родину «немойтой Россией», «страной рабов, страной господ»? И даже прямо оскорбивший свою нацию, обвинив народ в «послушании» «голубым мундирам»?!

Только откровенно злонамеренная недобросовестность способна даже в самых резких и несправедливых словах Вас. Гроссмана о России углядеть злобное русофобство инородца, а не ту же глубокую, мучительную боль истинно сыновней, страстной и преданной любви к России, что заставляла и Пушкина, и Лермонтова, и Чаадаева, и Чехова тоже впадать порою в крайности национального самобичевания — вполне, впрочем, в традициях той удивительной и драгоценной совести подлинной русской культуры, которая издавна делала ее презрительной ко всяческому национальному чванству и, напротив, болезненно пристальной ко всякому греху, несправедливости и нечистоте в родном доме Отчизны, потому что не было у ее сыновей большей жажды и страсти, чем сделать этот дом и народную в нем жизнь как можно чище, радостнее, здоровее и достойнее... Или, может быть, то, что позволено русскому Чаадаеву или Щедрина, запрещено еврею Гроссману, хотя бы он, как и множество таких же нерусских по крови русских писателей, был связан с Россией и ее культурой всей своей судьбой и всем духовным своим существом, всем

смыслом писательского и человеческого бытия?.. Стыдно за тех русских, что позволяют себе хотя бы тайне думать так. И при этом считают себя людьми русской культуры.

Но вернемся к повести. И попытаемся все-таки понять, в чем же главная, стержневая направленность ее мысли. А для этого уясним прежде всего то, что смысловым центром повести никак не может быть, конечно, та схема русской истории, которая составляет важную, но все же боковую, вспомогательную ветвь авторской мысли. Ведь острое ее направлено на постижение того государства, которое возникло в России после 1917 года, прежде всего в его **собственной, реально-наличной структуре и природе**, то есть даже и независимо от того, с какой исторической традицией и в какой мере оно может быть связано. Именно это, созданное после революции государство, а не история России было для Вас. Гроссмана **главным предметом внимания**, а потому именно осознание и квалификация его сути и стали **главным** мучительным делом и главным открытием его мысли. А если угодно, то и главным ее потрясением, ибо то, что пришлось ей для этого осознать, было осознано ею еще в те времена, когда о Солженицыне или Шаламове и слышно не было, а гласная либеральная мысль отваживалась поднимать руку только на «искажения» и «нарушения» времен «культы», но никак не на природу нашего строя, в основе своей, конечно же, здоровую и народную. И вдруг Вас. Гроссман, сам отдавший немалую часть жизни догматическому сну, приходит к выводу, что революция, совершенная «ради народа», создала государство как раз **против народа** — государство по самой сути своей **антинародное!** Ибо «не народу, — пишет Вас. Гроссман, — нужен был террор в девятнадцатом году, не народ уничтожил свободу печати и слова, не народу понадобилась гибель миллионов крестьян, крестьяне и есть большая часть народа, не народ набил лагеря и тюрьмы в 1937 году, не народу понадобились истребительные высылки в тайгу крымских татар, калмыков, балкарцев, обрусевших болгар и греков, чеченцев и немцев Поволжья, не народ уничтожил свободу сеять, право на рабочую стачку, не народ совершил чудовищные накладки на себестоимость товаров»...

Каково было все это отважиться понять и высказать бывшему «соцреалисту». Еще бы не потрясение!..

Но понять и твердо высказать то, что и сейчас-то понимают далеко не все, Вас. Гроссману достало сил лишь потому, что он сумел понять тот главный принцип, который был заложен в самое основание нового государства — принцип **несвободы, насилия**. Он сумел понять, что неизбежный на этапе революционного взрыва принцип был перенесен и на последующее существование государства.

Но, в свою очередь, он сумел увидеть и понять всю трагическую значимость этого факта лишь потому,

что к нему пришло наконец осознание той старой истины, что свобода есть **коренная потребность** человеческой природы, **изначальное условие** действительного развития личности и общества. А потому и охватывает собою всю тотальность жизни, включая в себя прежде всего все те фундаментальные принципы, которые и были отброшены революцией, а затем и вовсе низвергнуты как презрительно-«буржуазные», «индивидуалистические», — «свободу слова, печати, совести» — и свободу «сеять, что хочешь», быть «хозяином пахотной земли», «поля, на котором работаешь», «продавать» и «не продавать» то, что «посеял», «шить ботинки, пальто» — и вообще «жить, работать так, как хочешь, а не как велит тебе». Нет всего этого — и вот уже «не только малые народы, но и русский народ не имеет национальной свободы», ибо «там, где нет человеческой свободы, нет и национальной». И не видно уже в стране даже и «общества, потому что общество основано на свободной близости и свободном антагонизме людей, а в государстве без свободы немыслима свободная близость и вражда»...

Здесь нельзя не напомнить, что, признав эту логику, Вас. Гроссман встал и перед трагическим вопросом о том, а не явился ли сталинский режим завершением того, начатого еще при Ленине дела, когда было разогнано Учредительное собрание, ликвидированы другие партии и в основание нового государства заложен принцип диктатуры, казавшийся временным и вынужденным, но на деле ставший для него конститутивным?.. Прав или не прав Вас. Гроссман в своем утвердительном ответе на этот вопрос, нельзя не поразиться тому, что он сумел уже тогда осознать всю неизбежность для нашего исторического сознания этой сложнейшей темы, необходимость серьезного внимания к которой мы начинаем признавать, в сущности, только сейчас...

Однако еще более важно для понимания мысли Вас. Гроссмана, что его герою и по возвращении из сталинских лагерей пришлось убедиться в том, что «несвобода по-прежнему торжествует» в стране «от можа до можа», ибо по-прежнему «не ушла из рук партии созданная Сталиным мощь промышленности, Вооруженных Сил, карательных органов», «действует все та же система выборов, все так же окованы рабством рабочие союзы, все так же беспредельно несвободны и беспаспортны крестьяне, все так же талантливо трудится, жужжит в лакейских интеллигентиях великой страны», «все то же кнопочное управление державой, все та же неограниченная власть великого диспетчера»...

Какие слова!.. И неужели не вчера только они сказаны?.. Итак, к чему я веду? К тому, что лишь в контексте этой главной темы Вас. Гроссмана и можно верно понять действительный, глубинный смысл того сопоставления «Запад — Россия», которое постоянно звучит в повести и вове не сводится

к исторической своей проекции. Смысл этот прямо связан с тем центральным, проходящим через всю повесть утверждением Вас. Гроссмана, что исторический прогресс возможен лишь как прогресс человеческой свободы. Ведь стоит только сопоставить этот тезис с тем пониманием свободы, которое отстаивает писатель, и становится ясно, что всем существом своим повесть направлена прежде всего против представления о том, что возможен какой-то иной, особый путь исторического прогресса, не связанный с обязательной реализацией и развитием всех тех свобод, что сформировали современный Запад. Вот, стало быть, в чем истинный смысл этого главного тезиса Вас. Гроссмана, в котором сконцентрирован весь пафос его мысли и с которым и связана как раз острейшая для нас сегодня злободневность этой мысли. Почему? Да потому что нет, увы, более сладкой для нас и более укорененной в нашем русском сознании давней веры, что нам, русским, предназначен почему-то непременно свой какой-то, особый, принципиально «незападный» путь исторического развития. А между тем если и так, то что же это за путь? И — куда?

То первоначальное наполнение этой веры, которое было связано с идеей «соборности» русского религиозно-национального сознания как регулирующей и направляющей силы нашего развития, только потому ведь и делало эту веру хотя бы теоретически не абсолютно утопичной, что «соборная» эта идея даже у ранних славянофилов на деле была идеей вовсе не какого-то действительно иного, принципиально противоположного Западу, а в сущности того же самого пути прогресса через развитие демократических свобод, но в менее болезненных и дисгармоничных, более естественных для тогдашней России формах государственности. Однако в 1917 году старая Россия окончательно упустила свой исторический шанс стать наконец живой органической формой прогресса через свободу. А та новая «соборность», которая насаждалась потом десятилетиями, была основана уже на отказе от всех нравственных абсолют христианских культур, устраняла всякую свободу. И она действительно вывела страну на путь, уже прямо противоположный западному, «особый». Но ведь новая эта «соборность» так полно успела выявить все свои возможности, а «особый» ее путь довел нас до такой черты, что остается лишь удивляться тем, кто все еще верит в ее обветшалые мифы...

Отрезвляющее действие повести «Все течет» в том и состоит, что она высвобождает нашу мысль из-под власти привычных миражей, помогая понять, что никакого действительно **особого** пути исторического прогресса у нас нет и быть не может. Поэтому-то так и важно нам сегодня как можно скорее уяснить, что без всего того, что на языке всего мира зовется свободной — рыночной — экономикой, политической демократией и гражданской свободой, нам нечего и надеяться спастись от ожидающего нас в противном случае полного экономического, политического и межнационального краха. И уж тем более без этого нечего рассчитывать на то, что страна сумеет достигнуть когда-нибудь такого рубежа своего развития, при котором мы действительно выйдем на уровень наибольшего доступного в наше время социально-экономического благополучия и граждански-политического, экологического, физического и духовного здоровья общества.

Конечно, все сказанное по поводу того «особого пути», что так дорого стоило нашей стране, — это всего лишь мое (хотя, разумеется, и не только мое), сугубо личное, как говорится, мнение. Но ведь если бы я не имел права высказывать в «Московских новостях» даже и такие суждения, которые, я думаю, редакция вряд ли разделает, я никогда и не взялся бы вести на ее страницах свою личную рубрику. Это, кажется, ясно.